

12+

ЗАВОДНЫЕ СКАЗКИ

Повесть о дневнике, который не дописали



Сергей Тараненко

Сергей Тараненко

Заводные Сказки

«Издательские решения»

Тараненко С.

Заводные Сказки / С. Тараненко — «Издательские решения»,

Он оборвал сказку на полуслове и ушёл на фронт. Обещал дописать, когда вернётся. Не вернулся. Восемьдесят лет тетрадь пролежала на чердаке. Трое правнуков нашли её, прочитали вслух — и оказались внутри: жестяная рыба, ходячая печь и один закон на всех — себя не заведёшь. А с востока ползёт тишина. И кто-то ждёт там все восемьдесят лет, пока фразу договорят. Осталась одна недописанная фраза. Договорить её придётся детям.

© Тараненко С.

© Издательские решения

Содержание

ЗАВОДНЫЕ СКАЗКИ	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОМ С ТРЕМЯ ЧАСАМИ	7
Глава первая, в которой на чердаке пахнет яблоками и керосином	7
Глава вторая, в которой родник заводит рыбу, а рыба заводит целый мир	9
Глава третья, в которой Ася читает вслух, а Лёвка поворачивает ключ	12
Глава четвёртая, в которой их встречает столб	14
Глава пятая, в которой отец не дописывает	17
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДОРОГА ЧЕРЕЗ ТРИ ЗЕМЛИ	20
Глава шестая, в которой печь берёт попутчиков	20
Глава седьмая, в которой Игольное царство расползается по швам	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Заводные Сказки

Сергей Тараненко

© Сергей Тараненко, 2026

ISBN 978-5-0071-3480-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЗАВОДНЫЕ СКАЗКИ

Повесть о дневнике, который не дописали
Сергей Тараненко

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОМ С ТРЕМЯ ЧАСАМИ

Глава первая, в которой на чердаке пахнет яблоками и керосином

В доме прабабушки Веры было трое часов, и все вращали по-разному.

Кухонные спешили. Они висели над дверью, круглые и жёлтые, как блин, и торопили всех: пять минут в час, тридцать минут в неделю. К августу они уходили в будущее так далеко, что мама Ольга махнула рукой и стала жить по телефону.

Часы в горнице отставали. Большие, в деревянном ящике, с гирями на цепях, они шли, только если их подтолкнуть, и всё время как будто оглядывались.

А третьи часы стояли в чулане, на боку, без стекла, и не шли вовсе. Прабабушка Вера не разрешала их выбрасывать.

— Пусть лежат, — говорила она. — Они отдыхают.

Тим считал, что дом надо было продать ещё позапрошлым летом. Он так и сказал — в машине, на сто двадцатом километре, глядя в окно на бесконечный ольшаник:

— Его надо было продать. Тут даже интернета нет.

— Есть, — сказала мама. — У колодца ловит.

— У колодца, — повторил Тим таким голосом, что мама минуты три молчала.

Асе было одиннадцать, и она умела слышать, когда взрослый молчит громко. Она подняла голову от книжки и посмотрела на затылок брата. Затылок был стриженный, упрямый и совсем не такой, как год назад. Год назад Тим сам возил их тут на велосипеде через поле, на дальний омут, — её на раме, Лёвку в рюкзаке за спиной — и говорил, что у прабабушкиного дома самая правильная в мире крыша, потому что по ней слышно дождь.

Теперь Тим говорил про интернет.

Лёвка спал, приоткрыв рот, и во сне держал в кулаке отвёртку. Отвёртку он взял из дома и никому не отдавал уже вторые сутки. Лёвке было шесть, и он твёрдо знал, что в дороге может пригодиться всё.

Дом стоял боком к реке, вросший в землю на два венца, и пах, как всегда: сушёными яблоками, керосином и немножко пылью, но пылью хорошей, домашней, которая садится ровным слоем и никому не мешает.

Прабабушка Вера ждала на крыльце. Она была очень маленькая — с годами она сделалась ниже Аси, — и очень прямая, и держалась за перила так, как держатся за поручень в трамвае: не потому что падаешь, а потому что положено.

— Приехали, — сказала она.

И заплакала, и тут же рассердилась на себя, и вытерла глаза ладонью, и стала совершенно спокойной.

— Тимофей, — сказала она, — ты стал длинный. Ася, ты стала похожа на мою маму. Лев, у тебя в руке отвёртка. Молодец.

Лёвка серьёзно кивнул. Он единственный из всех троих понял её правильно.

Первые три дня прошли как всегда: река, крапива, велосипед с восьмёркой, банка с малиной, комары, ссора из-за наушников. Мама Ольга разбирала бумаги — старые, жёлтые, с печатями, — и вздыхала, и потом уходила курить за баню, хотя бросила восемь лет назад. Прабабушка Вера сидела в горнице и путала дни. Иногда она называла Асю Наташей. Один раз назвала Тима — Матвеем и сама же испугалась.

А на четвёртый день пошёл дождь, и мама сказала:

— Раз всё равно сидите — разберите чердак.

На чердак вела лестница из чулана, и по этой лестнице поднимался столб света — тонкий, желтоватый, весь в летающей крупе. Наверху было низко, жарко и великолепно.

Там стояли лыжи без палок. Стеклянная банка с пуговицами — три килограмма пуговиц, если не больше. Швейная машинка без иглы, с ножным приводом, похожая на маленького чёрного зверя, который сел и задумался. Ящик с ёлочными игрушками, завернутыми в газету сорок какого-то года. Гипсовый бюст неизвестного мужчины, аккуратно накрытый вязаной шапкой, — вероятно, чтобы не простыл.

И сундук.

Сундук был обит жостью, жость местами прогнила и висела кружевом. Тим поддел крышку — та поднялась легко, как будто её открывали часто.

Внутри лежало сложенное покрывало, под ним — коробка из-под ботинок, перевязанная бечёвкой, а в коробке — тетрадь.

Толстая конторская тетрадь в коленкоровом переплёте, когда-то, наверное, тёмно-зелёном, а теперь цвета старого мха. Углы обтрёпаны до картона. По корешку — трещина, и её кто-то давным-давно заклеил полоской ткани в мелкий цветочек, и стежки на этой полоске были кривые, крупные, детские.

Тетрадь была застёгнута.

Не на замок — на маленькую жестяную задвижку, вроде тех, что бывают на сундучках. А к задвижке, на суровой нитке, был привязан ключ.

Не дверной. Крохотный, латунный, с квадратной дырочкой вместо бородки — такими когда-то заводили часы и музыкальные шкатулки.

— Дай, — сказал Лёвка и потянулся.

— Погоди.

Ася взяла тетрадь обеими руками. Она была тяжёлая — гораздо тяжелее, чем должна быть тетрадь. Она отодвинула задвижку.

На первой странице, вверху, крупно, химическим карандашом — тем самым, который надо было слюнявить и который оставлял на губах фиолетовые следы, — было написано:

«Сказки, которые я рассказал детям. Записываю, чтобы не забыть. 14 сентября 1936 г. М. Кожин»

А ниже, помельче, другим наклоном, будто он приписал это уже потом, в другой вечер:

«Веруша сказала: „Запиши, а то завтра будет другая“. Записываю. Она права».

Под надписью был рисунок.

Рисунок был неумелый и совершенно живой. Затон, камыши, мостки. У мостков — рыба. Рыба была нарисована как чертёж: с раскромом, со швом по хребту, с заклёпками вдоль брюха. А на боку у неё, там, где у обычной плотвы просто бок, был квадратный паз.

Под рыбой стояла подпись:

«Плотвица Жуля. Заводится с четверти оборота. Больше не надо — лопнет от радости».

Ася подняла голову. В чердачном свете висела пыль, и было слышно, как по крыше идёт дождь — тот самый, правильный, из-за которого стоило иметь этот дом.

— Тим, — сказала она. — Иди сюда.

— Я занят, — сказал Тим, не оборачиваясь. Он сидел на корточках у слухового окна и держал телефон в вытянутой руке, ловя одну палочку.

— Тим. Тут наш прапрадед.

Тим не обернулся.

Он обернулся через минуту.

Глава вторая, в которой родник заводит рыбу, а рыба заводит целый мир

Это было в тридцать шестом, и Веруше было три года, и она болела.

Ничего страшного — ухо, — но ухо болело так, что весь мир сузился до одной горячей точки за левой щекой, и Веруша выла тонко и безнадежно, как воеет чайник, если про него забыли.

Отец пришёл с завода поздно. Он ещё пах цехом — маслом, металлической стружкой и морозом, — и мать зашипела на него от печки: не садись к ней в спецовке. Но он всё-таки сел на край кровати, прямо в спецовке, и положил ладонь Веруше на щёку.

Ладонь была большая, шершавая и холодная с улицы.

— Слушай, — сказал он. — Я тебе сегодня одну штуку расскажу. Только ты не перебивай, а то я собоюсь, я первый раз рассказываю.

— Я не буду, — сказала Веруша и всхлипнула.

— Значит, так. У нас за огородом, где ты в прошлом году ботинок утопила, — есть затон.

— Знаю.

— Ты уже перебиваешь.

— Я больше не буду.

— Так вот. В том затоне живёт плотва. Только не простая, а жестяная.

Веруша перестала выть — не потому, что перестало болеть, а потому что стало интересно.

— Почему жестяная?

— Потому что там воду глубоко под землёй качает родник, а родник холодный, и от него всё, что в затоне живёт, потихоньку делается железным. Это как ржавчина, только наоборот. Ржавчина железо съедает, а этот родник — наращивает. Понимаешь?

— Нет.

— И я не понимаю, — согласился отец. — Но так есть. И живёт там плотвица. Зовут Жуля.

— Почему Жуля?

— Потому что жулит. Слушай дальше. У Жули на боку — паз, квадратная дырочка. И каждое утро её надо заводить.

— Кто заводит?

— В том-то и дело, — сказал отец. — Она сама себя завести не может. Никто в тех местах не может завести себя сам, — вот такое там правило. Хочешь жить — найди, кто тебя заведёт. И сам заведи кого-нибудь. Иначе к вечеру встанешь.

— И умрёшь?

— Не умрёшь. Затихнешь. Это хуже.

Веруша полежала, подумала.

— А кто заводит Жулю?

— Дед один. Причальный Дед. Он, вообще-то, столб. Его вбили в дно, когда мостки строили, и он с тех пор там стоит и всё видит. Разговаривает скрипом. И у него в верхушке трещина, а в трещине лежит ключ — вот такой, — отец показал на пальцах, — маленький, латунный. Каждое утро Жуля подплывает к столбу, поворачивается к нему боком, и дед её заводит. Четверть оборота — и хватит. Больше нельзя.

— Почему нельзя?

— Лопнет от радости.

Веруша засмеялась. Ухо кольнуло, но уже не так страшно.

— А кто заводит деда?

Отец помолчал. За печкой стучала мать, гремела крышками; в окне было темно и мело.

— А деда заводит Жуля, — сказал он. — Тычется носом в паз и толкает. Она сильная, хоть и маленькая. Так они друг друга и держат уже, наверное, сто лет: он её утром, она его вечером. И пока они это делают — затон живой, и камыши играют, и стрекозы летают.

— А если один забудет?

— Тогда второй встанет, — сказал отец. — А потом и первый. Потому что заводить-то станет некому.

Веруша уснула на этом месте.

Утром она проснулась здоровая и злая, и первым делом потребовала продолжения. Отец был на смене. Мать сказала: вечером. Вечером Веруша вцепилась в отца, едва он снял сапоги, и потребовала: про Жулю.

— Про Жулю я вчера рассказал, — сказал отец.

— Ещё!

И вот тут началось.

Потому что «ещё» — самое опасное слово на свете. Взрослому кажется, что он рассказал сказку и на этом дело кончилось. А на самом деле он открыл дверь и теперь обязан идти дальше. Каждый вечер — дальше. Каждый вечер — новую.

Матвей Ильич Кожин был человек не то чтобы очень образованный. Семь классов, ремесленное, инструментальный цех. Но он был слесарь-инструментальщик, а это особая порода: такой человек, увидев любую вещь, сразу видит, из чего она сделана и как её разобрать. Он и мир так видел.

Поэтому мир, который он придумывал, получился весь на резьбе и на шпонках.

К зиме тридцать шестого в затоне завёлся не только Причальный Дед, но и камыши, которые были на самом деле трубами органа, и стрекозы на подшипниках, и колобок, который катился не сам по себе, а по подшипниковой дорожке и потому не мог свернуть, и оттого-то, бедняга, всё время попадал в неприятности. К весне тридцать седьмого появилось Часоборье — лес, где деревья тикают, а шестерни висят на ветках и к осени наливаются. Летом тридцать седьмого — Игольное царство, целиком выросшее из материнской шкапулки, потому что шкапулку однажды опрокинули и катушки раскатились по всей избе, и Веруша ползала за ними до самой ночи.

Но всё это уцелело только потому, что ещё в сентябре тридцать шестого, в самом начале, Веруша сказала: «Запиши».

И он записал.

Он купил в потребкооперации конторскую тетрадь в коленкоровом переплёте — толстую, на четыреста листов, разлинованную в клетку, с полями для граф. Такие тетради заводили под учёт инструмента. Он завёл её под учёт сказок.

Писал он коряво и медленно, ставил точки не там, где надо, и пропускал запятые. Зато рисовал — хорошо. Не красиво, а понятно: как чертят в цехе, когда объясняют напарнику. У него всякая тварь была нарисована в разрезе, с выносками и подписями:

«Стрекоза. Опора — два подшипника, скольжение. Крыло — слюда, натянута на проволоку. Заводить нельзя — сама берёт от солнца».

«Колобок. Ходовая — по жёлобу. Сойти с жёлоба не может. Оттого и характер».

Иногда рядом с чертежом появлялась короткая приписка, будто он спорил сам с собой:

«Гриша спросил, больно ли Жуле, когда заводят. Сказал — нет, приятно. Подумал: а вдруг всё-таки больно. Надо будет спросить у неё».

Он писал по вечерам, на кухне, под лампой, накинув на плечи пиджак, и мать Аня сидела напротив и штопала, и иногда говорила: «Матвей, второй час». А он говорил: «Сейчас, Аня. Тут у меня одна не сходится».

За шесть лет он исписал больше половины тетради.

Он не считал это чем-то важным. Он вообще ничего такого не думал. Он просто был человек, у которого дети требовали каждый вечер новую сказку, а память у него была так себе, и он боялся, что забудет и повторится, и дети заметят, и получится нехорошо.

Он записывал, чтобы не забыть.

Он не знал, что записывает мир.

Глава третья, в которой Ася читает вслух, а Лёвка поворачивает ключ

Читали на веранде, потому что дождь так и шёл, а на веранде дождь был со всех сторон сразу — по стеклу, по крыше, по бочке под водостоком, и каждый по-своему.

Тетрадь лежала на столе между ними, раскрытая на первой странице. Все трое смотрели на неё, и никто не решался начать.

— Ну читай, — сказал наконец Тим.

— А почему я?

— Потому что ты читаешь вслух, а я нет.

Это была правда, и это была первая честная вещь, которую Тим сказал за всё лето.

Ася читала вслух хорошо. Она читала вслух даже наедине с собой, тихонько, шёпотом, и от этого книжки у неё делались другими — как будто она их не проглатывала, а пробовала на язык. В школе на конкурсе чтецов ей поставили второе место, а мама сказала: «Судьи ничего не понимают», — и это было приятно и стыдно одновременно.

Ася положила ладонь на страницу.

Бумага была шершавая, толстая, чуть волнистая от старой сырости. Химический карандаш за девяносто лет никуда не делся — только стал не фиолетовым, а каким-то грозovým.

— «Сказка первая, — прочитала Ася. — Про плотвицу Жулю, которую надо заводить». И стала читать.

Она читала, а Лёвка сполз со стула и лёг на пол, потому что слушать лёжа удобнее, а Тим сидел, откинувшись, с закрытыми глазами и с таким лицом, будто ему всё равно.

Прапрадед писал плохо. Он писал так, как говорят, — с повторами, с «вот», с «значит», с внезапными скачками. Но у него было одно свойство, которого нет у многих хороших писателей: он всё время помнил, что его слушает конкретный ребёнок, вот этот, лично, и что этому ребёнку болит ухо.

Поэтому в сказке про Жулю посреди затона вдруг появлялась фраза: *«А ты не бойся, я рядом сижусь»*.

Ася прочитала эту фразу вслух — и запнулась.

Потому что за девяносто лет фраза не выпела. Её написал мужчина в спецовке одной конкретной девочке в тридцать шестом году, а произнесла её девочка одиннадцати лет в две тысячи двадцать четвёртом, и получилось, что фраза сработала.

По затону пошла рябь. Это Ася поняла позже — что рябь пошла именно тогда.

А в тот момент она просто почувствовала, как по веранде потянуло холодным и запахло тиной и мокрым железом. И бочка под водостоком перестала звенеть.

— Читай, — сказал Лёвка с пола.

Она дочитала до последней строчки. Последняя строчка была такая:

«И дед завёл её на четверть оборота, и она пошла. И, значит, день начался».

Тим открыл глаза.

— Всё? — спросил он. — Это вся сказка?

— Вся.

— Тут же ничего не происходит.

— Тут происходит утро, — сказала Ася.

Она сама не знала, откуда взяла эту фразу. Она прозвучала взросло, и Тим посмотрел на сестру внимательно, будто впервые заметил, что она за лето тоже как-то изменилась.

А Лёвка встал с пола, подошёл к столу и взял ключ.

Тот самый — латунный, на суровой нитке, привязанный к задвижке.

— Лёв, положи.

— Тут дырка, — сказал Лёвка.

— Где?

— Тут.

И он показал.

На переплёте, у самого корешка, в коленкоре, была дырка. Маленькая, квадратная. Ася сто раз провела по этому месту пальцем и ничего не заметила — потому что дырка была под самой полоской ткани в мелкий цветочек, той, которой когда-то заклеили трещину. Ткань обтрепалась, и дырка выглянула.

Квадратная. Ровно под квадратную бородку ключа.

— Не надо, — сказал Тим очень спокойно, и по этому спокойствию Ася поняла, что он тоже всё понял и что ему страшно.

Лёвка вставил ключ.

Он вошёл мягко, как в масло.

— Лёв.

— Один оборот? — уточнил Лёвка деловито. — Или четверть?

— Четверть, — сказала Ася, прежде чем успела подумать.

Лёвка повернул на четверть.

Ничего не взорвалось. Ничего не засветилось. Просто дождь на веранде — вся эта разно-голосица по стеклу, по крыше, по бочке — вдруг сложилась в один ритм. Как будто в оркестре, где каждый до этого настраивался сам по себе, дирижёр поднял руку.

Тук. Тук. Тук.

И между «тук» и «тук» стало слышно, как где-то очень близко, буквально за спиной, кто-то делает вдох.

Ася обернулась.

За спиной у неё была стена веранды, с крючками для одежды и с прошлогодним календарём.

А потом стены не было.

Глава четвёртая, в которой их встречает столб

Первое, что Ася запомнила, — запах.

Мокрое железо, тина, нагретая жёсть и почему-то ваниль. Она потом долго думала, откуда ваниль, и только через много дней узнала: в Заводи ванилью пахнут камыши, когда их продувает южным ветром.

Второе — что было утро.

Не «стало утро», а именно было: их поставили в готовое утро, как ставят фигурку на доску. Над водой висел туман в палец толщиной. Солнце ещё не встало, но небо уже сделалось цвета чайной ложки.

Они стояли на мостках.

Мостки были самые обыкновенные — три доски и перила, — но доски были не деревянные, а из спрессованного камыша, и на срезе у них были видны трубочки, и в трубочках гудел ветер, тихо и низко.

— Ася, — сказал Тим.

Голос у него был чужой.

— Да.

— Где мы?

— Не знаю.

— Ася, где мы?

— Я не знаю, Тим!

Лёвка ничего не спрашивал. Лёвка сидел на корточках на краю мостков и опускал руку в воду.

— Тёплая, — сообщил он.

— Лёва, отойди от края!

— Тут рыба.

Из тумана к мосткам подошла рыба.

Она именно подошла, а не подплыла: двигалась ровно, без рывков, как будто её вели по нитке. Плотва в две ладони длиной, серебристая, с красноватым плавником. И вся она была сделана: по хребту шёл аккуратный шов с заклёпками, чешуя лежала внахлёст, как черепица, а глаз был стеклянный, выпуклый, с настоящим влажным блеском.

Рыба развернулась боком.

На боку у неё был квадратный паз.

— Жуля, — прошептала Ася.

Рыба ударила хвостом. Один раз — коротко и сердито. И Ася поняла: та ждёт.

— Она ждёт, что её заведут, — сказал Тим.

— Чем?

Они посмотрели друг на друга. Ключ остался там — в переплёте, на веранде, в другом мире, вставленный на четверть оборота.

— Кхм, — сказал кто-то сверху.

Не «кхм» — скорее скрип. Долгий, деревянный, идущий снизу вверх, такой, какой бывает, когда лодку прижимает к причалу.

Но в этом скрипе совершенно ясно слышалось «кхм».

Столб стоял в трёх шагах, у конца мостков, наполовину в воде. Толстый, чёрный от воды, обросший снизу зелёной бородой. Наверху у него была трещина, и в трещине что-то тускло блестело.

— Здравствуйте, — сказала Ася.

Столб скрипнул иначе — с недовольством.

— Не так, — сказал он.

Голос у него был как половица.

— А как?

— «Заведён ли ты?» — вот как здороваются. Восемьдесят лет никто не приходил, и все забыли, как здороваются. Ну?

— Заведён ли ты? — сказала Ася.

— Заведён до вечера, — ответил Причальный Дед. — Спасибо, что спросила. Теперь заводи рыбу, пока она мне тут дно не пробила.

— Мне нечем!

— В трещине.

Тим полез первым — потому что он был выше и потому что он был старший, а старшему полагается лезть первым, даже если он весь год делал вид, что ему всё равно. Он дотянулся до трещины, пошарил и вытащил ключ.

Ключ был латунный, крохотный, с квадратной дырочкой.

Точно такой же.

— Их что, два? — спросил Тим.

— Ключ один, — сказал столб. — Просто он в двух местах. Не забивай себе голову, длинный, ты всё равно не поймёшь. Заводи.

Тим присел на корточки, примерился и надел ключ на паз. Жуля ждала, замерев, и было видно, как у неё под жестью, в глубине, что-то мелко подрагивает.

— Сколько?

— Четверть! — хором сказали Ася и Дед.

Тим повернул.

Внутри рыбы что-то щёлкнуло, тоненько, как ноготком по стакану, — и Жуля пошла.

Она сделала круг под мостками — быстрый, лихой, с креном, — выпрыгнула, шлёпнулась плашмя, обдав всех троих, и умчалась в туман, и оттуда донёсся звук, которого Ася никак не ждала: рыба смеялась. Смех был жестяной и очень довольный.

— Вот, — сказал Причальный Дед. — Теперь день начался.

Он помолчал и добавил, уже совсем другим тоном:

— Спасибо. Я третье утро не мог до неё дотянуться.

— Почему?

— Потому что меня самого никто не заводит, — сказал столб просто. — Она заводит меня по вечерам, я её по утрам. А теперь у неё завод короткий стал, ей до вечера не хватает, она к ночи уже сонная. А я к утру уже никакой. Вот и ползём вдвоём, как две черепахи с одной ногой.

Лёвка встал.

— А почему завод короткий? — спросил он.

Столб долго молчал.

Туман над водой начал редеть. Стало видно противоположный берег — камышовую стену, а за ней, далеко, тёмную полосу леса, и над лесом что-то поблёскивало и медленно поворачивалось.

А ещё стало видно небо на востоке.

Небо на востоке было не такое, как везде. Оно было серое — но не облачное. Оно было серое, как бывает серым выцветший на солнце плакат. Как будто оттуда, с востока, кто-то аккуратно, полосками, снимал цвет.

И оттуда не доносилось ни звука.

Совсем.

В Заводи всегда что-нибудь тикает — это Ася поймёт позже, но почувствовала сразу. Мир тикал: камыши, вода, стрекозы, дальний лес. А на востоке в этом ровном шуме была дыра.

— Оттуда, — сказал Причальный Дед. — Тишина ползёт. Второй год.

— Что это?

— Не «что». «Кто». — Столб скрипнул, поворачиваясь, — Ася могла бы поклясться, что он повернулся, хотя был вбит в дно. — Слушайте меня, дети, и слушайте один раз, потому что я старый и повторять не люблю. Кто вы такие — я знаю. Вы Матвеевы.

Тим открыл рот.

— По запаху, — сказал столб. — От вас пахнет карандашом. Он тоже так пах. Он тут сидел, вот на этих мостках, и болтал ногами в воде, и рассказывал вслух, а вокруг всё делалось. Потом он ушёл. И знаете, что хуже всего? Он ушёл на полуслове.

Дед скрипнул совсем тихо.

— Он не дописал последнюю. И там, на востоке, где он не дописал, — теперь дыра. И из этой дыры выходит тот, кого он не дорисовал.

Глава пятая, в которой отец не дописывает

В июле сорок второго Веруше было девять лет, Грише — четыре, и во дворе цвела картошка.

Повестку принесли в среду.

Веруша это запомнила твёрдо, потому что по средам мать пекла ржаные лепёшки на поду, и весь дом стоял в этом запахе, и запах не хотел уходить, а надо было, чтобы ушёл, потому что он был весёлый, а всё остальное перестало быть весёлым в одну минуту.

Отец пришёл с бумажкой, положил её на стол и сказал:

— Ань.

Мать посмотрела на бумажку и не притронулась к ней. Она вытерла руки о фартук, потом ещё раз вытерла, хотя они уже были сухие, потом сняла с пода лепёшки, все до одной, и переложила на полотенце, и накрыла вторым полотенцем, — и всё это в полной тишине.

Потом села.

— Когда?

— В пятницу.

Веруша стояла в дверях. Гриша сидел на полу и катал по половице катушку.

Никто её не выгнал. Это было самое страшное — что её не выгнали. Значит, дело такое, что уже неважно, слышит ребёнок или нет.

В четверг мать стирала и штопала, и в доме была ужасная суета, и это было хорошо, потому что от суеты некогда думать. А в четверг вечером отец сказал:

— Веруша. Гриша. Идите ложиться. Сказка будет.

Гриша обрадовался. Гриша ничего не понимал, ему было четыре.

Веруша легла и уставилась в потолок. Потолок был из широких досок, и на одной доске был сучок в форме кота, и Веруша знала этот сучок восемь лет своей жизни.

Отец сел на край кровати, как всегда, и, как всегда, положил ладонь ей на щёку. Ладонь была шершавая, но не холодная — за окном стояло лето.

— Так, — сказал он. — Сегодня новая. Только я её, наверное, длинную начну.

— Начинай, — сказал Гриша.

— В Заводи, — сказал отец, — есть один, кого никто не заводил.

Веруша повернула голову.

— Как это?

— А вот так. Всех кто-нибудь да заводит. Жулю — дед, деда — Жуля, стрекоз — солнце, шестерни на деревьях — сама земля из-под корня. А есть один, до которого не дошли руки. Он стоял и ждал, что придут. День ждал, год ждал. Сто лет ждал.

— И что?

— И не пришли, — сказал отец. — Понимаешь, тут никто не виноват. Просто так вышло. Его начали делать и не доделали.

— Как не доделали?

— Ну вот так. Ему сделали руки, ноги, тележку дали. А лица не сделали. Не успели.

Гриша приподнялся на локте.

— А что у него вместо лица?

— Ничего, — сказал отец. — Ветошь. Тряпочка. Серая такая.

— Страшно, — сказал Гриша с удовольствием.

— Страшно, — согласился отец. — Только он не злой, Гриша. Ты запомни: он совсем не злой. Он просто пустой. И оттого он ходит по всей Заводи с тележкой и подбирает всё, что затихло. Всё, что стоит незаведённое. Он их складывает к себе и увозит.

— Зачем?

— Затем, что он думает: раз меня никто не завёл, значит, так и правильно. Значит, тихо — это нормально. Он хочет, чтобы все были как он. Не потому что он злой, а потому что ему очень, очень одиноко, а когда все тихие — уже как будто не одиноко, а просто у всех так.

Веруша молчала. Ей стало холодно под одеялом.

— А как его победить? — спросил Гриша.

— Его нельзя победить, — сказал отец. — Он же не враг. Его можно только...

И тут он остановился.

Веруша ждала. Она ждала долго — потом, всю жизнь, ей казалось, что она ждала минут пять, хотя вряд ли прошло больше десяти секунд.

— Пап?

— погоди, — сказал отец. — Дай сообразить. Я, кажется, слишком много на себя взял.

Он посидел, глядя в пол.

— Знаешь что, — сказал он наконец. — Я эту сказку не досказываю сегодня. Она мне трудная попала. Я такую с ходу не вытяну.

— Расскажи завтра, — сказал Гриша.

— Завтра я уеду.

Гриша не понял, что это значит. Гриша сказал:

— Ну тогда послезавтра.

Отец засмеялся. Смех у него получился нехороший, и он тут же его убрал.

— Договорились, — сказал он. — Послезавтра.

Он встал, вышел на кухню и сел писать. Веруша слышала, как скрипит табурет и как он слюнявит карандаш. Он писал долго — она заснула под этот звук, а он всё писал.

Наутро, в пятницу, он собрал вещмешок.

Мать положила туда лепёшки, две пары носков, кусок мыла и фотокарточку, где они вчетвером на фоне забора. Потом стояла и смотрела в мешок, будто там чего-то не хватает, и не могла вспомнить чего.

Отец достал из-под подушки тетрадь.

Она была толстая, тяжёлая, в тёмно-зелёном коленкоре, и корешок у неё уже тогда был треснут.

— Веруша. Держи.

— Ты возьми, — сказала Веруша. — Ты там будешь писать.

— Я там на четвертушках буду писать, — сказал отец. — А тетрадь тяжёлая. И потом...

— Он подумал. — Понимаешь, дочка. Она вам нужнее. Тут всё записано. Всё, что мы придумали. Ты Грише читай вечером. Каждый вечер, слышишь? Не через день. Каждый.

— Почему каждый?

— Потому что там всё надо заводить, — сказал отец. — Ты сама знаешь. Себя не заведёшь.

Он присел и застегнул задвижку на тетради. И привязал к задвижке ключ на суровой нитке — тот самый, латунный, от старых материнских ходиков, которые всё равно не шли.

— Вот, — сказал он. — Это чтобы не потерялся.

— Пап, — сказала Веруша. — А последняя сказка? Про того, у кого лица нет?

Отец открыл тетрадь на последней исписанной странице.

Веруша заглянула через его руку. Там был рисунок: фигура в длинном, тележка на двух колёсах, и вместо лица — пустой овал, обведённый и оставленный незакрашенным. И рядом строчки, написанные ночью, торопливо:

«Его нельзя победить, потому что он не враг. Его можно только»

И всё.

И дальше — пустая страница.

— Ты не дописал, — сказала Веруша.

— Не дописал, — сказал отец.

— Допиши.

— Я допишу, когда вернусь, — сказал Матвей Ильич Кожин.

Он поцеловал её в макушку, поднял Гришу, подержал, поставил, обнял мать так, что у той хрустнуло в плече, взял мешок и вышел.

Веруша стояла на крыльце с тетрадью, прижатой к животу.

Он обернулся у калитки.

— Веруша!

— Что?

— Ты не бойся, — крикнул он. — Я рядом.

И пошёл по улице к станции, и было слышно, как хлопнула калитка, и потом ещё долго — как он идёт.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДОРОГА ЧЕРЕЗ ТРИ ЗЕМЛИ

Глава шестая, в которой печь берёт попутчиков

— Значит, так, — сказал Причальный Дед. — Домой вам сейчас нельзя.

— Почему? — спросил Тим.

— Потому что ключ повернут на четверть. Пока он на четверти — вы тут. Полный оборот — и вы дома. Но полный оборот может сделать только тот, кто держит ключ там, у себя. А там у вас кто?

Дети переглянулись.

— Никого, — сказала Ася. — Мы там все... тут.

— Ну вот, — сказал столб с мрачным удовлетворением. — Обычная история. Все всегда сюда бегут и никто не думает, кто их назад заведёт. Он тоже не думал.

— Кто?

— Матвей ваш.

Он замолчал так надолго, что Ася решила: разговор кончился.

— Ладно, — сказал столб. — Дам совет, а дальше сами. На восток идти вам рано — там Обрыв, там пусто и оттуда вы не выберетесь. Идите в обход: сперва на Игольное, потом через Часоборье. В Часоборье живёт Кукушка, и Кукушка знает про часы всё. А про то, как вернуться, знают только часы.

— Это далеко? — спросил Лёвка.

— Пешком — три недели.

— У нас нет трёх недель, — сказал Тим. — У нас там мама.

— А не пешком, — продолжал столб, будто его не перебивали, — а не пешком это будет к обеду. Если Устинья возьмёт.

— Кто такая Устинья?

Столб не ответил. Столб смотрел мимо них, на берег, и Ася обернулась.

По лугу шла печь.

Она шла неторопливо, вразвалку, слегка кренясь на левый бок, и трава под ней ложилась и распрямлялась. Обыкновенная русская печь — беленая, с закопчённым устьем, с полатами, с трубой, из которой тянулся дымок, — только внизу, там, где у печи полагается быть кирпичному подпечку, у неё было шесть коротких ног, толстых, гнутых, шагающих враскачку.

Печь дошла до мостков, постояла, подумала и села.

Она села именно как садятся — подобрал ноги и с тихим кряхтением.

— Устинья, — сказал столб. — Ребят возьмёшь?

Печь молчала. Из трубы шёл дым.

— Она немая, — пояснил столб. — Разговаривает заслонкой. Один раз — да, два — нет.

Заслонка коротко звякнула. Один раз.

— Взяла, — сказал Дед. — Лезьте на полаты, там тепло. И слушайте главное правило: Устинья везёт только туда, где её помнят. Если место забыли — она туда дороги не знает. Не потому что упрямится. Просто дороги нет.

— А как узнать, помнят или нет? — спросила Ася.

— Никак. Едешь и проверяешь.

Они полезли.

Наверху, на полатах, было горячо, пахло хлебом и немножко дымом, и лежала овчина, вытертая до кожи. Лёвка тут же лёг животом и объявил, что он теперь здесь живёт.

Тим сел, обхватив колени.

— Ася.

— М?

— Ты понимаешь, что этого не бывает?

— Понимаю.

— И что мы вообще-то, наверное, спим. Или отравились чем-нибудь.

— Тим, — сказала Ася. — Если мы отравились, то у нас у обоих одинаковая галлюцинация с печкой. Так не бывает.

— С печкой не бывает, а с печкой, которая слушается заслонкой, бывает?

Печь встала.

Их качнуло. Устинья развернулась, потопталась и пошла на север, забирая от воды, и мостки, и столб, и камыши поплыли назад.

— Спасибо! — крикнула Ася, свесившись. — Дедушка, спасибо!

— Заведён до вечера! — донеслось сзади. — Слышишь, девочка? Только до вечера!

Луг кончился, и началось то, о чём Ася потом писала в тетради целых четыре страницы и всё равно осталась недовольна.

Началась Заводь.

Они шли — то есть шла Устинья, а они лежали на её горячей спине — через поля мятлика, у которого вместо метёлок были крошечные пружинки, и когда ветер шёл волной, поле тонко звенело, как будто кто-то водил ногтем по расчёске. Через рошу, где деревья росли парами, и в каждой паре одно дерево было живое, а второе — кованое, и они держались ветками, и живое кормило кованое соком, а кованое живое — теплом.

Мимо прошло стадо: коровы на широких лапах, с боками из клёпаного железа, и у каждой на лбу горел маленький масляный фонарик. Пастух — мальчишка в шапке — помахал им и крикнул: «Заведены ли вы?» — и Ася крикнула в ответ: «Заведены до вечера!» — и почувствовала счастье такой силы, что даже испугалась.

В полдень они пересекли реку. Река была обыкновенная, мокрая, но текла вверх по склону — медленно, натужно, как вода в старом насосе, и на дне у неё, глубоко, что-то мерно ухало.

— Насос, — сказал Тим, глядя вниз.

Он это сказал не удивлённо, а профессионально. И Ася поняла, что брат уже минут двадцать не говорит «этого не бывает».

Он лежал на животе, свесив голову, и смотрел на реку так, как смотрят на разобранный механизм, — с тем особым, жадным вниманием, которого Ася не видела у него целый год.

Тим с семи лет чинил всё в доме. Кран, самокат, соседкин пылесос, мамин фен, будильник, который до него объявили безнадежным. Отец говорил: «Руки у тебя». А потом отец уехал, и Тим перестал чинить. Просто перестал: в мае у мамы сломался утюг, и она сама отнесла его в ремонт, и никто ничего не сказал.

Ася смотрела на брата, свесившего голову над механической рекой, и думала, что, может быть, вот сейчас что-то начинает распрямляться.

— Тим.

— Что?

— Ты обратил внимание, что Дед сказал про завод? «Заведён до вечера». То есть каждый вечер кто-то должен...

— Обратил, — сказал Тим.

— И что мы будем делать вечером?

Тим долго молчал.

— Заводить друг друга, — сказал он наконец. — Наверное.

Глава седьмая, в которой Игольное царство расплзается по швам

Игольное царство было видно издалека — по блеску.

Оно лежало в долине и блестело, как блесстит рассыпанная на полу коробка с булавками, если посветить фонариком. Ася сначала подумала — озеро. Потом — крыши. Потом Устинья спустилась ниже, и стало ясно, что это город из иголок.

Дома в Игольном строили так: втыкали в землю пучок толстых штопальных игл ушками вверх, а между ушками натягивали ткань. Получались шатры — тугие, звонкие, всех оттенков ситца. Улицы были из тесьмы. Мосты через ручьи — из молний, и по ним ходили, застёгивая за собой. Ручьи текли нитяные: серые, суровые, катушечные — они и правда текли, разматывались откуда-то сверху и уходили в землю, и на них можно было положить руку, и они щеко-тали ладонь.

А над городом летали иглокрылы.

Это были стрижи. Или, вернее, то, что получилось бы, если бы кто-то делал стрижа, имея под рукой только швейную машинку. Тело — вороненая швейная игла в ладонь длиной. Крылья — два лоскута, сшитые через край. Глаза — две бисеринки. Летали они стремительно, с сухим свистом, и на лету штопали.

Ася увидела это своими глазами: над крышей одного шатра разошёлся шов, и три иглокрыла спикировали и стали ходить челноком туда-сюда, туда-сюда — и через минуту шов был зашит крепким крестиком, а иглокрылы, довольные, ушли вверх.

— Красиво, — сказал Лёвка.

— Смотрите, — сказал Тим.

И показал на восточный край города.

Там всё было не так. Там шатры стояли пустые, и ткань висела клочьями, и по земле тянулись длинные распущенные нити, и не было ни одного иглокрыла.

Устинья села на площади, и к ним сразу подошли.

Стражники Игольного носили нагрудники из напёрстков — настоящих, стальных, с ямочками, и было слышно, как эти напёрстки постукивают при ходьбе. Ростом они были детям по грудь. Лица у них были неожиданно человеческие, усталые.

— Заведены ли вы? — спросил старший.

— Заведены до вечера, — ответила Ася.

— Врёте, — сказал стражник спокойно. — От вас пахнет тем боком. Идёмте к Матушке Строчке.

Матушка Строчка сидела в самом большом шатре, и Ася не сразу поняла, где она.

Потому что Матушка Строчка была швейная машинка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.